



Ольга пыталась не смотреть. Не смотреть. Не слышать. Не быть.

Ей не дали. Никому из них не дали. Даже маленьким детям...

Их выгнали из домов на рассвете. Поднимали с постелей пинками, тумаками и прикладами. Всех, от мала до велика. Поднимали, чтобы, как скот, загнать на пятачок перед сельсоветом. Когда-то накануне Первомая здесь устанавливали деревянную трибуну, с которой председатель Антон Петрович поздравлял сельчан, вручал грамоты за ударный труд. Сейчас тоже установили. Только не трибуну, а виселицу. Три столба на высоком, наспех сколоченном помосте. Три раскачиваемые мартовским ветром петли. Три фигуры, ярко освещенные фарами грузовиков. Хотелось думать, что это не правда, что это такой спектакль, страшное действо на потребу толпы. Хлеба и зрелищ!

Вот только толпа не хотела! Не хотела, боялась и ненавидела. А еще скорбела по этим троим, которые еще живы, но уже покойники.

Ольга пыталась не смотреть. Она закрыла глаза сама и прижала к груди Танюшку, малодушно надеясь, что им позволят не видеть.

Не позволили. Ударили прикладом в бок ее, оттолкнули онемевшую от ужаса Танюшку — подаль-

ше от нее, поближе к этому импровизированному эшафоту.

Ольга не почувствовала боли. Наверное, из-за страха за внучку. В какой-то момент подумала, что сейчас – вот прямо сейчас! – фигур на эшафоте станет на одну больше. Больше на одну испуганную шестнадцатилетнюю девочку.

Но нет... Эти ироды были заняты другим. Ироды готовились к представлению, готовили сцену и зрителей. Чтобы смотрели. Чтобы на веки вечные запомнили и впредь даже в мыслях своих не смели сопротивляться новой власти.

Те, что стояли на сцене, посмели. Ольга знала каждого. Двоих из них она учила в школе. Старший когда-то ухаживал за Лидией, ее дочкой. У них не срослось. Помнится, тогда эти юношеские страдания казались такими серьезными и такими значимыми. И Лиде, и ей самой. Первая любовь всегда оставляет раны на юных сердцах. Но все утряслось, юность прошла, уступая место взрослым заботам и здравомыслию. Много всякого случилось за минувшие годы, но этот... теперь уже не юноша, а мужчина никогда не переставал любить ее единственную дочь. Даже после того как женился на другой, а потом овдовел. Даже после того, как Лидии не стало. И сейчас Ольге казалось, что он смотрит на Танюшку. Выискивает ее глазами в толпе. Танюшка похожа на мать, она почти точная ее копия, и он прощается с тем, что так и не случилось, но оставило раны на сердце.

А Танюшка смотрела на мальчика. Нет, после того, что он совершил, уже не мальчика, а мужчину. Как жаль, что это ненадолго. Как несправедливо и как чудовищно! Они были одноклассниками. Никакой влюбленности – только дружба-соперни-

чество. Все то, что присуще шестнадцатилетним. Было присуще. Нельзя забывать, что прежний мир рухнул, что теперь его наполняют вот эти страшные, ко всему равнодушные люди со свастикой на рукавах. И другие страшные. Нет, пожалуй, еще страшнее, потому что не чужеземцы, а свои. Были своими. До войны...

На помост взошел один из таких, из бывших «своих». Мишаня-полицай. Тоже Ольгин ученик. Тут половина села была ее учениками. А в полицаи выбился только этот. И откуда что взялось? Ведь тихий был, прилежный. Ольга попыталась вспомнить, обижали ли его другие дети. Учителю в ней все еще искал оправдания чужим злодеяниям, искал причину этой страшной, нечеловеческой какой-то подлости. Искал, но так и не находил. А глаза, уже свыкшиеся с рассветным сумраком, всматривались в третью фигуру, сухонькую, согбенную, со скрещенными на груди натруженными руками. Мать мужчины и бабушка мальчика, первая и последняя женщина в роду, который вот-вот прервется...

— Смотрите все! — рявкнул Мишаня-полицай. Он взмахнул руками, словно пытался обнять всех тех, кого силой согнали на площадь. — Смотрите и запоминайте!

Он подбоченился и стал похож на средневекового глашатая. Только вместо шляпы с пером у него была фуражка, а вместо свитка — автомат. Ему нравилось. Как же ему нравилось выступать на этой сцене! Он купался в людском страхе, пил его жадными глотками и не мог напиться. Прежде чем продолжить, он вопросительно глянул на человека, предпочитающего оставаться в тени. Нет, не человека, а зверя. Нужно называть вещи своими

именами! Если по-немецки, то вервольфа — эдакого оборотня с холодным и равнодушным взглядом. Этому было все равно. Служебная рутина — и не более того. Население должно понимать, что любое сопротивление закончится неминуемым наказанием. Показательной казнью. Чтобы запомнили надолго. Чтобы рассказали остальным. Чтобы впредь было неповадно...

Справа всхлипнула и зашлась тихим плачем маленькая девочка, и ее мать испуганно-отчаянным жестом зажала ей рот рукой. Почти придушила, только бы та замолчала, только бы не привлекала к себе внимание фашистского начальника. В новом мире дети выросли быстро, и девочка затаилась, лишь ее широко раскрытые от ужаса глаза наполнились слезами. Немыми слезами.

— ...Будет наукой! — Мишаня-полицай все говорил-говорил, но Ольга его не слышала, искала в толпе Танюшку.

Девочку крепко держал за руку бывший школьный завхоз Василь Петрович. Взгляд его был мрачен и сосредоточен. По его суровому лицу было видно — случись что, он закроет Танюшку собственным телом. Жаль, он не мог закрыть ей глаза... Чтобы не видела, чтобы не носила до конца дней своих эту боль и этот ужас в душе.

А Танюшка смотрела. Смотрела на Мишаню-полицая с такой неукротимой ненавистью, что Ольгу прошиб холодный пот. Если увидят, если только взглянут на нее — все... быть беде.

Наверное, Василь Петрович услышал ее немой крик, или просто и сам много чего понимал в этой жизни, потому что едва заметно кивнул Ольге и шепнул что-то Танюшке на ухо. Что шепнул? Наверное, что-то такое... правильное, что заставило

ее девочку вздрогнуть, а потом ссутулиться, втянуть голову в плечи.

Хорошо. Нет, ничего хорошего в происходящем не было и не могло быть, но тиски, сжимавшие сердце, чуть разжались. Они еще сожмутся до предела — придет время, но сейчас хотя бы можно попытаться сделать вдох. И смотреть. И запоминать. Потому что ей тоже теперь с этим жить. Им всем теперь с этим жить. Если вообще получится выжить...

До блеска начищенный сапог Мишани-полицая ударил сначала по одной табуретке, потом по второй и третьей... Над площадью пронесся тихий стон, заплакали, заскулили, как новорожденные кутята, дети. А Ольга видела только болтающиеся в воздухе босые ноги. И чувствовала такую лютую ненависть и такую дикую ярость, что та превратила бы стальные тиски в оплавленную грудку металла! Давно в ней не было этой силы. А может, никогда и не было. Может, она напридумывала себе все, наслушавшись страшных сказок бабы Гарпины. И все остальное тоже напридумывала?..

Из граничащего с трансом забытья ее вывел звук автоматной очереди. Стрелял вервольф. Пока еще просто в воздух. Пока еще не в отшатнувшихся в ужасе сельчан. Чтобы теперь запомнили уже наверняка.

Они простояли под прицелами автоматчиков еще три часа, цепenea от страха и лютого мартовского ветра, камня сердца и душами, не решаясь посмотреть друг другу в глаза, не решаясь поднять взгляд на три парящие в рассветном небе фигуры.

Были люди, стали ангелы — проскрипел в голове голос бабы Гарпины. Баба Гарпина знала много интересных историй. Про ангелов тоже.

А Танюшка смотрела прямо перед собой. Шмыгала носом, сжимала посиневшие от холода кулаки, шевелила губами, словно молитву читала. Только не знала она молитв. Вот Ольга знала. От бабы Гарпины. От кого же еще? И молитвы, и прочее... Думала, никогда не пригодятся такие знания. Да и как пригодится то, во что не особо и веришь? Тогда не верила, а сейчас из оплавленных тисков выковывалось что-то новое, остроконечное. Может быть, вера?

А Василь Петрович молодец, продолжал приглядывать за Танюшкой. Держал крепко, только теперь уже не за руку, а под руку. Словно в стариковском бессилии опирался на хрупкое девичье плечо. Он и был стариком, но еще крепким. Крепким и умным. Понимал, как надо, чтобы в живых осталось как можно больше людей. Чтобы молодость не наделала глупостей. Хороший человек, настоящий.

Когда Мишаня-полицай с молчаливого разрешения вервольфа позволил сельчанам разойтись по домам, Ольга подошла к своим.

— Спасибо, — шепнула она Василию Петровичу.

— Ай, перестань, Оленька. — Он разжал желтые от никотина пальцы, которыми держал Танюшкину руку. — Ничего я не сделал. Пойдемте. Не нужно нам тут...

— А они?! — Танюшка попятилась к эшафоту. — А они как же?

— А они останутся. — Теперь уже Ольга сжала ее руку, потянула к себе, заглянула в обычно серые, но сейчас уже синие, как и у всех у них в роду, глаза. — Не позволят их сейчас снять, Татьяна.

— Потом... — Василь Петрович вздохнул, закурил самокрутку. Едко запахло самосадам, аж в гла-

зах защипало. Или в глазах защипало от другого? — Все по-божески сделаем. Как надо.

— Ему было шестнадцать... — Танюшка схватила себя руками за горло, словно это она сейчас болталась в петле, словно это ей сейчас не хватало кислорода. — Он же еще... — Наверное, она хотела сказать «ребенок», но оборвала себя на полуслове, вспомнила, что детства больше нет, что его одной лишь автоматной очередью отменили вервольфы со свастикой.

— Эй, Танюха! Иди-ка сюда! — К ним неспешным шагом приближался Мишаня-полицай. — Иди, не бойся. Разговор имеется!

— Молчи, — процедила сквозь стиснутые зубы Ольга. — Молчи, я сама буду говорить.

— А ты, старая, чего стала?! — Мишаня лыбился. Глаза у него были по-рыбьи прозрачные. И как она раньше не замечала? — Ступай, я с Танюхой желаю говорить.

— Говори со мной, Михаил, — твердо проговорила Ольга. Не подвел многолетний учительский опыт — заставляя себя слушать. Даже вот таких, как этот рыбоглазый. — При мне говори, чего хочешь?

А Танюшку она отпихнула к себе за спину и на Василя Петровича глянула многозначительно — удержи, не дай девочке надеть глупостей, пока мы тут... разговариваем.

— Чего я хочу? — Ухмылка Мишки из растерянной сделалась похабной. — Чего я хочу, то тебе, старая, знать не нужно. А вот господин фон Клейст хочет, чтобы в его доме был порядок.

— В его доме?

— В Гремучем ручье. Не придуривайся, что совсем из ума выжила. Прислуга нужна, но не из это-



го сброда... — Мишаня проводил презрительным взглядом спешащих покинуть площадь сельчан. — Из интеллигенции. И чтобы непременно по-немецки понимала. — Сплюнул себе под ноги и усмехнулся. — Танюха же твоя умная, немецкий язык знает.

— Я его лучше знаю. — Ольга, не мигая, смотрела в стылые рыбки глаза. Где-то там, на их дне, есть петелька. У каждого человека она есть, так баба Гарпина рассказывала. Если эту петельку подцепить да за нее потянуть, то душу человечью можно наружу вытащить. Кто посильнее, так, может, и навсегда. А кто такой, как она, Ольга, тот так... на время. Но пока ты за петельку тянешь, человек тебя слышит и слушается. Насколько твоих сил хватает.

Ее сил хватило ненадолго, но все равно хватило. Мишаня-полицай моргнул, икнул, сбил фуражку на затылок, а потом велел:

— Ладно, завтра приходи в комендатуру за пропуском.

В голосе его слышалось удивление, словно бы он и сам не верил в то, что говорил. Однако ж Ольгиной силы хватило, чтобы сказал и в сказанном утвердился. Вот только голова у Ольги заболела невыносимо, до кровавых брызг перед закрытыми глазами...

— А за Таньку не бойсь, — Мишаня еще раз сплюнул через щербину между зубами. — Если меня будет держаться, я в обиду ее не дам. Слышь, Танюха! — Он вытянул шею, глянул поверх Ольгиного плеча. — Раскинь мозгами, кто тебе сейчас настоящий защитник. Со мной будешь как сыр в масле кататься. А если станешь кобениться...

— Она не станет, — отрезала Ольга. Решение, до этого смутное, несформированное, обрело плоть. Этот не уймется. И остальные, которые верволь-

фы, не уймутся. Они лишь начали входить во вкус. Будут еще и расстрелы, и виселицы. Много всякого страшного еще будет. А ей уже нечего терять.

Нет, ей есть что терять. У нее есть Танюшка, единственная родная душа на всем белом свете. Ради Танюшки она и решилась на все это. Ради нее и односельчан. Как все получится, непонятно. Да и получится ли? Но тянуть и терпеть больше нельзя. Рано или поздно Мишаня переступит порог их дома, с четким намерением переступит. А может, и не Мишаня, может, любой другой из этих... с автоматами. Так уже было. Для нелюдей нет ничего святого, честь — для них пустое место, а чужая боль — источник удовольствия.

— Что ты сказала, старая? — Мишаня приблизился, наклонился. Его рыбьи глаза снова были близко. Выцарапать бы...

Но Ольга не стала. Превозмогая головную боль, она снова потянула за петельку. Эх, хватило бы сил, чтобы вышибить из тела эту гнилую душу! Вышибить, намотать на кулак, а потом зашвырнуть куда подальше. Но сил осталось лишь на то, чтобы Мишаня моргнул, снова сплюнул себе под ноги и поспешил прочь по каким-то внезапно появившимся неотложным делам. Если им повезет, о Танюшке он не вспомнит еще неделю. А за неделю Ольга должна управиться. Как-нибудь...

До дома ее вела Танюшка. Ольга не видела ничего от боли, шла на ощупь, механически переставляя враз отяжелевшие ноги. Василь Петрович порывался проводить, но Ольга отказалась. Никто ей сейчас не поможет. Тут другое нужно. Вспомнить бы, что именно. Не была она прилежной ученицей.

Рассказы бабы Гарпины слушала вполуха, хоть та и ругалась, заставляла повторять по несколько раз. А для надежности еще и записывать в толстую тетрадь. Сама-то она была неграмотной, ни читать, ни писать не умела, но память в свои почти сто лет имела по-девичьи острую, все даты, все события помнила наизусть. Сама помнила, а Ольгу заставляла записывать в тетрадку. Где сейчас та тетрадка? Выбросить память о бабушке Ольга не могла, но и на виду не держала. Значит, где-то на чердаке, в старом дубовом сундуке вместе с остальными уже никому не нужными, почти забытыми вещами. Только бы хватило сил, чтобы на чердак подняться. В другой раз отправила бы Танюшку, но Танюшке такое знать нельзя. Не сейчас. А если повезет, то и вовсе ей не понадобятся эти знания. Если у нее, у Ольги, все получится. Если баба Гарпина говорит правду, если не придумала все эти... сказки.

Танюшка не плакала. Шла молча, шмыгала носом, терла красные глаза, но не плакала. И дома не стала. Ольге казалось, лучше бы выплакалась, накричалась в голос. Глядишь, хоть на время бы отпустило. Но внучка молчала. Перешагнув порог, так и села на стул, не разуваясь и не снимая полушубка.

— К печке пересядь, — велела Ольга. — Продрогла же.

Она и сама промерзла до костей, но рассиживаться у печи было недосуг. И для Танюшки нужно придумать какое-нибудь занятие. Когда есть занятие, проще не думать о том, что теперь никогда не забыть.

— Воду поставь. Будем чай пить. — Она стянула телогрейку, повесила на вешалку, подышала на озябшие ладони. — Слышишь меня, Татьяна? На стол накрой, я сейчас приду.

В сенях было сумрачно, но зажигать свет Ольга не стала. Уверенно взялась за гладко отполированное дерево. По этой приставной лестнице она лазила с детства, и с детства же знала каждую перекладинку. Вот только сил почти не осталось...

Пришлось брать волю в кулак, цепляться за перекладины онемевшими, бесчувственными пальцами, заставляя себя двигаться. Оказавшись в пыльной тишине чердака, Ольга несколько минут просто стояла, собираясь с духом и крепко зажмурившись, пережидая, пока откатится очередная волна боли.

Старый сундук она нашла в самом дальнем углу чердака. Впрочем, искать его не пришлось. Сколько Ольга себя помнила, сундук бабы Гарпины всегда стоял в этом месте.

Но к тому, что сундук окажется запертым на замок, она была не готова. Пришлось осматриваться, искать что-нибудь похожее на лом, потому что ключа у Ольги не было. Или был, но так давно, что она и думать о нем забыла. Пока искала инструмент, немного пришла в себя, в промежутках между вспышками головной боли начала видеть очертание предметов. Ничего особенного — обычный, никому уже не нужный деревенский скарб. Плетенные из лозы этажерки, паяный-перепаянный медный самовар, старая домашняя утварь, затянутое паутиной зеркало. В зеркало Ольга заглянула. Из его сизого нутра на нее посмотрела маленькая синеглазая девочка. Всего лишь на мгновение, как воспоминание о том, какой она была много лет назад. Хватило одного лишь взмаха ресниц, чтобы девочка превратилась в старуху. Да, высокую. Да, статную. Да, все еще не растерявшую былой красоты, но все равно старуху. Пролетела жизнь. Про-